

НЕВЕСОМОСТЬ

Я много слышал о профессоре А. Ф. Лосеве как о человеке весьма интересном. Условившись о свидании, я вошел в его квартиру, наполненную несколькими тысячами книг, в его кабинете я увидел многочисленные мраморные копии античных скульптур, среди которых я увидел и Гомера и Аполлона, и Зевса, и Ареса, и Дедала, и Икара, и Венеру Милосскую, и многие другие. Меня пригласили пройти в кабинет А. Ф. Лосева, где я нашел много книг, частью в полном беспорядке, окружавших профессора и даже заслонявших его фигуру. На столе я увидел букеты из черемухи, ландышей и других цветов. Это преподнесли ему аспиранты, которые накануне сдавали ему экзамен. Сам Лосев выглядит довольно плохо, но глаза у него весьма острые и пронизательные — то и дело влезает в душу собеседника. Несмотря на свой пожилой возраст, бритый, в академической шапочке и с весьма подвижными жестами профессор произвел на меня впечатление молодого, весьма живого человека. Во всей его натуре чувствуется что-то артистическое, казалось бы, далекое от его профессии.

Весь этот старинный дом на Арбате, где проживал А. Ф. Лосев, библиотека в 15 тысяч томов, античное окружение и этот веселый энтузиаст жизни и творчества, который пролезает в самую душу собеседника, а также его видная, крупная фигура, голова, которая наполнена сотнями разных идей, — все это, признаюсь, привело меня в некоторое смущение.

ЛОСЕВ. Садитесь, я Вам очень рад. Итак, Вы пришли ко мне, как к интересному человеку?

СОБЕСЕДНИК. Да, я знаю, что Вы напечатали 193 научные работы, среди них — несколько десятков больших томов, и что Вы целую жизнь преподаете в вузе. Мне казалось бы это небезынтересным. К тому же, Вас знают как совместителя классической филологии (т. е. древних языков) и философии, — а совместительство это чрезвычайно редкое.

Л. А скажите, пожалуйста, кто более счастлив, любящий или любимый?

С. Конечно, если любимый ни то и ни се, то...

Л. Вот, в том-то и дело, что 193 научные работы, — это только любимое, а не любящее. Вы бы лучше спросили о любящем.

С. Да. Я, конечно, думаю, что Вы должны были любить Ваши работы.

Л. А трудиться я не должен был?

С. Но ведь это само собой разумеется!

Л. Почему же это вдруг разумеется? Я знаю людей, которые очень много трудятся и своего труда не любят, даже ненавидят его. А уж о том, что есть любящие результат своих трудов, но самый труд ненавидящие, и говорить нечего.

С. Но ведь об этом знают все.

Л. Так что же, Вы в моих работах видите только труд или только любовь к труду?

С. Однако, было бы странно разделять эти области.

Л. Ну, тогда так и говорите, что я Вам интересен прежде всего своим трудом.

С. Почему же только трудом?

Л. А потому, что я обладаю невесомостью.

С. Это как же Вы прикажете понять? Ведь Вы, как будто, не космонавт?

Л. А так, что невесомость есть труд, необходимый и полезный как для трудящегося, так и для использующего этот труд. А во-вторых, этот труд незаметен и не доставляет никаких издержек ни самому трудящемуся, ни для того, кому этот труд полезен. Поэтому позвольте Вам представиться: я чувствую себя космонавтом.

С. А, так Вы хотите сказать, что Ваш труд всегда был бескорыстен?

Л. Но бескорыстный труд можно затратить для того, чтобы ломать замки.

С. Ну да, конечно, труд должен быть идейным. Вы хотите сказать, что именно в таком труде и заключается весь интерес?

Л. Видите ли, труд для человека настолько естествен, что я, например, его не замечаю, хотя трудился всю жизнь, и день, и ночь. Другими словами, повторяю: настоящий труд есть невесомость. Он общественно полезен, но в основе его лежит улыбка.

С. Значит, Вы слишком много улыбались в жизни.

Л. Да, я всегда плаваю.

С. В области мысли?

Л. В области безмыслия.

С. Но кто же тогда писал и печатал Ваши 193 работы?

Л. Любовь писала.

С. Но, я вижу, Ваша любовь себе на уме?

Л. Да! Я иногда соображаю. И днем, и ночью.

С. А ночью Вы тоже мыслите?

Л. Конструкциями.

С. Это как же понять?

Л. А так, что любовь есть видение.

С. Видение?

Л. Да, видение идей.

С. Уж не это ли Вы доказывали в своих многочисленных научных трудах?

Л. Пытался.

С. Алексей Федорович, скажите подробнее.

Л. Ну вот, например, я написал и издал в 1927 году большой том под названием «Античный космос и современная

наука». Писать его я начал еще мальчишкой. Да покончил его тоже мальчишкой, хотя напечатать его удалось, когда мне было уже за 30.

С. Что же, была уже там невесомость или еще не было?

Л. Судите сами: я хотел разрушить миф об античном идеализме и спиритуализме.

С. А попали все-таки в материализм?

Л. Мне кажется, мне удалось доказать, что античный материализм созерцателен, слишком уж неповоротлив, а главное — антиисторичен.

С. Это как же понимать?

Л. Это нужно понимать так, что античные материалисты признавали существование богов.

С. Но, конечно, не мифологических, насколько я помню Вашу тогдашнюю работу?

Л. О, да. Это, конечно, не антропоморфные боги древнегреческой старины. Это просто предельное обобщение натурфилософских процессов или отдельных областей античного космоса.

С. Но тогда ведь это уже не боги.

Л. Да, античные материалисты против культа богов, но в них они все-таки верят. Боги никак не воздействуют на мир, а тем не менее античные материалисты требуют их признания.

С. Значит, это доказательство и было тогда Вашей задачей?

Л. Нет, моей задачей было совсем другое. В античных текстах я обнаружил чувство полной неоднородности пространства и времени.

С. Я Вас не понимаю.

Л. А дело вот в чем. Оказалось, что объемы тел зависят от скорости движения этих тел. Чем тело движется быстрее, тем больше сокращается его объем в направлении движения. Следовательно, если тело движется с бесконечной скоростью, то объем его становится равен нулю.

С. Позвольте, так ведь это коэффициент Лоренца-Фицджеральда?

Л. Нет. Это есть платоновское учение об идеях.

С. Но ведь это же маловероятно.

Л. Невероятно, но вполне необходимо то, что тело, которое движется с бесконечной скоростью, не только равно нулю в своем объеме, но оно сразу и мгновенно охватывает все точки в бесконечности, так как двигаться ему уже больше некуда, раз оно уже и без того все охватило.

С. А, тогда это и есть Ваша идея?

Л. Нет, это не моя идея, а идея платоновская, которая сразу везде есть и которая сразу везде отсутствует. Для античного человека это есть не больше, чем только результат бесконечной скорости движения тела.

С. Да, мне кажется, Вы здесь кое-что разгадали.

Л. И заметьте, еще мальчишкой!

С. Сколько же Вам было тогда лет?

Л. Свой «Античный космос и современная наука» — книгу в 550 страниц, усыпанную текстами на всех языках, древних и новых, я кончил в 25 лет.

С. Но напечатали Вы ее позже?

Л. Да, печатать книги с греческими текстами не так легко. Повторяю, издать эту книгу мне удалось, когда мне было 30 с небольшим.

С. А еще что Вы доказывали в своей книге?

Л. Я доказывал, что античная философия есть, попросту говоря, тогдашняя астрономия, конечно, с философской разработкой выступающих здесь категорий. А астрономия — потому, что наиболее истинным, и материальным, и идеальным, наиболее вечным и правильно сформированным бытием считался, попросту, самый обыкновенный космос. Но это не тот страшный и неохватный ньютоновский космос, который больше является пустотой, чем оформленным веществом, а космос видимый, слышимый, осязаемый и обоняемый. Словом, тот небесно-голубой купол, который мы и сейчас реально видим, хотя и уверяем себя, что это не небо, а просто бесконечная дыра.

С. Это интересно. Но ведь для этого нужны реальные филологические и исторические доказательства?

Л. Доказательства эти мне уже давно надоели. И разрешите их не касаться. Я скажу только одно, что античные <мыслители> весьма просто решили загадку о соотношении идеи и материи.

С. Скажите кратко и понятно.

Л. Вам встречалось в школьной математике умножение бесконечности на нуль?

С. Конечно, встречалось. Но ведь результат этого умножения есть не что иное, как любая конечная величина.

Л. Вот это-то и есть самое интересное. Бесконечность древние считали идеей, а материю считали, по большей части, только пустотой, то есть нулем. Помножьте идею на материю. Вы и получите любую конечную вещь. Другими словами, в каждой конечной вещи, согласно античным теориям, содержится и бесконечность, и нуль.

С. Но ведь там же много еще и другого и, прежде всего, всякой мифологии, которая уже, во всяком случае, нам чужда.

Л. Да, там много всего другого. Но меня интересовало то, как древние мыслили соотношение идеи и материи в структурном отношении. Структурно самый крайний античный идеализм есть только умножение бесконечности на нуль. Впрочем, я могу сказать и еще одно из такого, что может понять всякий. Дело в том, что мы в настоящее время очень резко противопоставляем геометрию и физику. Но представьте себе, что в античности такого противоположения почти не было. Даже о Демокрите спорят, являются ли его атомы физическим веществом, или это — геометрические тела. Ведь атомы Демокрита не только вечны и неразрушимы, но они не доступны вообще никакому постороннему физическому воздействию. А подобное неразличение физики и геометрии уже само по себе приводило к учению о неоднородности пространства. Раз геометрия и физика есть одно и то же, то и учение о пространстве одинаково и

физично и геометрично. В наше время об этом заговорил Эйнштейн. Но он заговорил на основании тончайше продуманной математики, а древние понимали это без всякой математики, просто и без всяких затей. И тем не менее, Вы, конечно, прекрасно понимаете, что геометрические линии, плоскости и тела трактовались там совершенно так же неоднородно, как к этому склонны и мы.

С. А еще какие труды Вы писали в ранней молодости?

Л. Я бы сказал, что не я их писал, но они меня писали.

С. Ну и что же они Вам тогда написали?

Л. Из многого назову немного: занимаясь теорией языка, я пришел тогда к выводу, что имя вещи есть самое вещь. Ведь представьте себе вещь, которая лишена всякого названия. Ведь это же значит, что Вы не можете приписать ей никакого свойства. А что такое вещь, лишенная всяких свойств? Кант сказал бы, что это есть вещь в себе. В своей книге, тоже конца 20-х, а именно в «Философии имени», я как раз и доказываю эту простую мысль: имя вещи неразрывно связано с самой вещью.

С. Я Вам должен сказать, что Вами здесь несомненно руководило чувство реализма, если именовать отдельные подробности. Я чувствую здесь патетическую направленность против субъективного идеализма. Здесь — обогащенное мировоззрение.

Л. Да, я тогда плавал или, что то же, созерцал идеи. Впрочем, и сейчас это остается моей основной профессией.

С. Но ведь Вы же еще и профессор, т. е. преподаватель?

Л. Да, учительство — это моя другая профессия. Когда я вхожу в аудиторию, становлюсь за кафедру и начинаю говорить, я вижу какие-то сонные и равнодушные физиономии. Однако мне нужно какие-нибудь десять минут для того, чтобы эти сонные физиономии проснулись, стали смотреть на меня и записывать мои слова. А если я проговорил 20 минут, то я начинаю видеть улыбки на этих сонных физиономиях. Вы знаете, что такое знающие и понимающие улыбки? После 20 минут студенты уже перестают записывать, откладывают свои самописки и улыбочиво созерцают меня, как какого-то актера на сцене. Самое важное — это рождение мысли, а я считаю себя профессионалом по части рождения мыслей у слушающих меня студентов и аспирантов.

С. Да, я кое-что слышал о Вашем преподавании. Но мне хотелось бы узнать, чем Вы занимаетесь теперь в научной области.

Л. О, я с улыбкой извергаюсь целыми томами. Хорошие эти тома или плохие — спросите у других. Но я в течение 60-х годов напечатал два больших тома своей «Истории античной эстетики», а сейчас сдал в производство 3-й и 4-й тома. Доказываю недоказуемое, а именно, хочу представить историю эстетики в виде точной истории терминов и понятий. Рассказывать попросту не умею и не люблю. И вообще ничего простого я не люблю. Ведь тысяча греческих цитат есть нечто простое и удобопонятное. Ведь понимаете же Вы, что такое «сотня», «тысяча», «миллион», не пересчитывая всех единиц, которые входят в эти числа. Так и я. Цитат у меня тысяча, а на душе просто и улыбочиво. За один 1970 год я уже напечатал восемь статей, четыре еще не вышли.

С. Простите меня великодушно, я должен несколько грубовато сказать, что дело не в количестве.

Л. Вы совершенно правы. Дело не в количестве и не в качестве, а дело в созерцании идей в науке и искусстве, т. е. в открытиях. Ведь тот, кто открывает, тот находит новую идею, которая другим до него не была известна. И уж конечно, он любит ее на эту идею, т. е., как я говорю, ее созерцает. Кроме того, наука рождается, развивается и получает свою значимость только тогда, когда ее любят. А любящий всегда видит в любимом такие идеи, которые другим не известны и над которыми многие даже подсмеиваются.

С. Итак, Вы хотите сказать, что наука движется любовью, а любовь движется наукой? А в результате получаются открытия. У Вас было много любви и много науки. Так в чем же Ваши открытия?

Л. Я, дорогой товарищ, больше закрывал, чем открывал.

С. Ну это, положим, не составляет большой разницы. Скажите только, что же именно Вы закрывали?

Л. Я закрыл классическую филологию, как науку мертвую, скучную, никому не нужную, ту, которую так гениально поняли Чехов и Мусоргский.

С. В таком случае, Вы хотите сказать, что Вы ее оживили?

Л. Да, я не бухгалтер. Гомер и Вергилий в старых гимназиях всегда считались зеленой скукой. У меня же они вышли не только живыми, но прямо акробатами мысли, инженерами душ.

С. Разве Вы писали о Гомере?

Л. Я половину жизни писал о Гомере — или прямо о нем, или перемежая с другими вопросами. В своей книге «Гомер» я формулирую вместо скучного и чопорного эпоса путь всех волнующихся людей, и богатых, и бедных, а Хилл вышел у меня прямым истериком. Это как, по-вашему, новость или не новость?

С. А еще?

Л. А еще я закрыл античную философию как собрание музейных древностей. Античные философы и поэты у меня и дерутся, и скачут, и прыгают, и плачут, и хохочут, и вообще ведут себя как люди, а не как статуи в музее изобразительных искусств.

С. А еще?

Л. А еще античная мифология у меня вышла не как мировоззрение дураков, а как мировоззрение серьезных и глубоких людей. А, кроме того, я все время старался выискивать в этой области линию развития, искания, переходов, элементы отжившие и элементы новейшие. Словом, у меня и тут не обошлось без жизненного трепета, т. е. без коренного влияния античности на новое время.

С. Но тогда Вам, вероятно, приходилось много бороться за свои идеи.

Л. Я дерусь молча.

С. И что-нибудь из этого выходит?

Л. Я уже Вам сказал, что из этого выходит улыбка.

С. Тогда Вы скажите прямо по Марксу, что греки — это детство человечества.

Л. А я и говорю об этом довольно часто. Но за это иной раз сажают в погреб, хранят в холодном месте и при употреблении взбалтывают.

С. Но ведь это же великолепно! Значит, Вас рассматривают как лекарство?

Л. Против духовного мешанства.

С. Но ведь Вы же лучше других должны знать, что жизнь есть борьба?

Л. Для меня — это невесомость.

С. Тогда скажите попросту, что Ваши новые идеи Вы защищали скромно, вежливо и старались вызвать не злобу, но улыбку.

Л. Да, улыбаться — это гениально, только, вот, к сожалению, не всегда приходится улыбаться. Доказать, что в этой древней маленькой Греции заложен зародыш всей европейской культуры, включая всю ее философию, — это не так просто. Но я Вам уже сказал, что простоты я не люблю и всегда берусь за самое сложное. Во всяком случае, практическая польза античности для нового времени и для современности, для социального общества, — это моя заветная идея, за которую я пролил немало крови и пота.

С. Но ведь это же было у Вас с улыбкой?

Л. Да, а иной раз даже со смешком.

С. Но в чем же, по-вашему, фантастическая польза античности для современного человечества, для социального общества?

Л. С Вашим современным человечеством разбирайтесь сами. А я скажу только о социальном обществе.

С. Ну, и что же Вы скажете?

Л. А я скажу то, что мир и безопасность требуют наивности и добродушия. А уж в древнем обществе этих материалов хоть отбавляй. Античность — наивность и детство человечества, а европейское человечество уж чересчур сложно... Ну, что, мало Вам этого? Или, может быть, еще что-нибудь прибавить? Я готов прибавлять Вам хоть до утра.

С. Нет, я думаю, здесь мы с Вами договорились. Я теперь хочу спросить Вас о другом. А именно, какие Ваши дальнейшие планы?

Л. У меня не планы, а сплошной балет.

С. То есть как это — балет? Вы не только космонавт, но и балетмейстер?

Л. А так, что буду кончать свою историю античной эстетики. Буду продолжать свою работу о понятии символа (две статьи из этой области я напечатал в прошлом году, а еще четыре находятся в производстве). По старой привычке люблю теорию языка, работа по которой продолжается у меня уже несколько лет. К нескольким напечатанным статьям из этой области надеюсь еще прибавить две статьи в текущем году. Трудно, приятно, безвыходно, строго, легко и невесомо.

С. Какой же Ваш завет нашему юношеству?

Л. Однажды один студент перевел у меня латинское выражение «*Memento mori*» («Помни о смерти») как «Не забудь умереть». Так вот, мой завет и сводится к тому, чтобы наша молодежь не забыла умереть для всего устаревшего, отсталого, неподвижного, закоснелого, слишком уже традиционного. Пусть молодежь летит вместе со мною и вверх, и вниз, пусть танцует вместе со мною и пусть не забывает о свободном труде, о мире и безопасности, о любви к общественно-полезным идеям. Но, в таком случае, позвольте и мне задать Вам некоторый вопрос.

С. Я Вас слушаю.

Л. Я Вас спрошу: Вы представляете себе тот путь, который пройден человеком от амебы до его современного состояния?

С. Ну, еще бы!

Л. Так вот, представьте себе, что человек прошел еще новый, такой же путь, но уже начиная от современного своего состояния — и дальше.

С. И что же это будет за человек?

Л. А вот Вы читали мои труды по античной мифологии?

С. Читал.

Л. Так вот, скажите, пожалуйста. Что, этот человек будущего не будет ни сильнее, ни интереснее всякого античного Зевса и Юпитера? Ведь даже и сейчас самый сильный гром тише, чем несколько небольших пушек, действующих одновременно.

С. О, Вы хотите сказать, что человек — царь природы?

Л. Не царь, а бог. Кроме того, действительность, по-Вашему, бесконечна или конечна?

С. Представьте, я где-то читал, что конечна.

Л. Ну тогда Вы должны были читать также и о том, что расстояние между единицей и двойкой или расстояние между двойкой и тройкой — уже есть бесконечность, так как Вашу единицу, двойку, тройку и т. д. можно бесконечно делить на какие угодно малые дроби.

С. Хорошо. Я согласен, что действительность бесконечна.

Л. Но тогда Вы должны согласиться и с тем, что путь от амебы к человеку не только возможен, но что он существует в бесконечно разнообразных видах. И вообще, этот путь бесконечен.

С. Ну да, человек есть царь природы.

Л. Царь или не царь, но что он стремится ко всеобщему миру и безопасности — это уже, во всяком случае, факт.

С. Но из Вашей теории это вытекает не очень ясно.

Л. Но из моей теории, во всяком случае, вытекает прогресс, свобода и любовь.

С. Но Ваши ночные конструкции должны были Вам напомнить, что все это не так просто и требует борьбы.

Л. Ах, ну вот, наконец, мы с Вами договорились. Человек — это есть труд, свобода и любовь, бесконечность развития, борьба и, в перспективе, — невесомость.

С. Скажите попросту — отсутствие эксплуатации человека человеком?

Л. Сказал. Но только в такой теории науки и в такой теории истории Вы не сказали еще кое-чего.

С. Скажите, чего я не сказал. А я Вам сейчас скажу, чего не досказали Вы.

Л. Дело в том, что и теория, и история настолько глубоки, что им свойственно нечто безумное.

С. Да, ведь это еще Нильс Бор сказал, что он еще не обладает достаточно безумной теорией, чтобы объяснить внутриатомное состояние.

Л. А я вот никак не могу выработать достаточно безумной теории, чтобы объяснить историю.

С. Чудесно! Теперь я скажу, что имеется в Ваших суждениях, чего Вы сами не понимаете.

Л. Скажите.

С. Ваша глубокомысленная теория прогресса ужасно добродушна.

Л. Да, я лечу в пропасть с улыбкой.

С. С улыбкой?

Л. Да, и с поцелуями.

С. Кого же Вы целуете?

Л. Своих.

С. Но почему же вдруг — пропасть?

Л. А потому что — бесконечный прогресс, и в перспективе — Юпитер.

С. Это ужасно мило!

Л. Это ужасно спокойно — лететь в бездну со своими, улыбаться, целовать их и быть спокойным.

С. Вы выражаетесь несколько витиевато. Скажите просто, что Вы целую жизнь трудились в области науки, что Вы всегда хотели сделать свой труд полезным, что у Вас есть такие же товарищи и что из бездны слишком трудного исторического и теоретического развития Вы хотите выйти на светлую поляну всеобщего мира и безопасности, причем, все это проделывается Вами с небывалым добродушием.

Л. Я не понимаю, о чем Вы говорите. Я знаю только свои точные конструкции; я знаю только человека, которому я должен служить; я знаю о будущем сказочном мире свободного труда и безопасности; я знаю еще Юпитера и, вообще, хочу быть Юпитером, который повыше и поглубже вашего царя природы. И на этом я расстанусь с жизнью.

С. Да, поистине, все мы не вечные. Но Вы правы — всем нам хочется быть вечными. Однако, жаловаться на жизнь Вам нечего.

Л. Наоборот, мы с ней квиты.

С. Но тогда можно обойтись без Вашей символики любви?

Л. Обойтись можно без чего угодно. Но только когда меня поздравляли на юбилее несколько лет тому назад, мое заключительное слово состояло лишь из двух фраз: «Товарищи! Ваши поздравления принимаю с гордостью и со смирением. А главное — да здравствуют филологическая и философская науки!»

С. Это Вы хорошо сказали. Но только Вы чудак.

Л. Я не чудак, но я невесом.

С. Но тогда позвольте Вам пожелать до 150 лет быть таким же невесомым балетмейстером.

Л. Важнее всего не 150 лет, но свободный труд и безопасность.

С. А мира Вам не надо?

Л. Мир придет сам собой вслед за невесомостью.

С. Я Вам очень благодарен за нашу беседу и думаю, что Вы могли бы сказать еще в 100 раз больше того, что Вы сейчас сказали.

Л. Заходите. Вероятно, скажу еще больше того. Спасибо за внимание.

Уходя после этой странной беседы, я думал: «Ну и чудак же этот Лосев!» Спускаясь сейчас по лестнице из его квартиры, я думаю, что побольше бы нам таких невесомых чудаков. Это, конечно, не единственный путь нашего развития. Но все же у меня на душе было тепло и улыбочиво, потому что таким самоотверженным и «невесомым» трудом мы только и движемся вперед, не зная ни усталости, ни сомнения, ни равнодушия, а только понимая труд как поэзию, как нескончаемое воодушевление, как веру в будущее, без всяких схем и абстракций, как добродушнейшую влюбленность в созерцание и творчество идей в науке и в искусстве. Нашему обществу нужны энтузиасты.